

НАСЛЕДСТВО

МАКС СТАРК

История о том, что мы не успели сказать

Макс Старк

НАСЛЕДСТВО

«Автор»
2026

Старк М.

НАСЛЕДСТВО / М. Старк — «Автор», 2026

Тридцатишестилетний инженер Родион Верещагин получает письмо из нотариальной конторы: двоюродный дед, о котором он никогда не слышал, оставил ему дом в деревне и «Москвич» 1979 года. Условие — приехать, прожить неделю и разобрать вещи покойного. Жена Кира, беременная первенцем, отпускает его на пять дней.В дедовом сарае Родион находит старую радиолу с ползунком, размеченным по годам, а на чердаке — тетрадь, в которой дед сорок лет записывал правила: можно слушать чужое время, но нельзя входить без якоря.Это роман о том, что время — не про машины. Оно про то, чтобы любить вслух, держать за руку и говорить правду сразу, потому что запоздалая правда тяжелее вранья.

© Старк М., 2026
© Автор, 2026

Макс Старк
НАСЛЕДСТВО

МАКС СТАРК
НАСЛЕДСТВО
роман
Санкт-Петербург
2026
Макс Старк. Наследство. Современная проза с элементом фантастического допущения. Санкт-Петербург, 2026.

Глава первая. Письмо

Граждане, скажу вам по совести: не люблю я получать письма. Особенно с пометкой «нотариальная контора». Потому что когда мне в прошлый раз пришло такое письмо, я думал, что это штраф за парковку, а оказалось — тётка моя двоюродная, царствие ей небесное, оставила мне в наследство сервиз на двенадцать персон. Сервиз я, конечно, взял. А куда его девать — не знал. Три года он у меня на антресолях лежал. В итоге отдал Кире. Она всплеснула руками: «Родя, это же память!» А я пожал плечами: «Кира, это же двенадцать тарелок, которые надо мыть». Она надулась и ушла на кухню. Тарелки мыть не стала.

Ну, а тут опять письмо. Конверт плотный, с гербом каким-то. Я его покрутил, покрутил. Думаю: либо штраф, либо наследство. Открываю. Читаю. И что вы думаете? Дед. Двоюродный. Какой-то там Игнат Пантелеевич Верещагин. О котором я, честно говоря, слыхом не слыхивал. А он, значит, взял и помер. И оставил мне — внимание, граждане, — дом в деревне и автомобиль «Москвич» тысяча девятьсот семьдесят девятого года выпуска. А также, согласно завещанию, я должен лично приехать, провести неделю в вышеозначенном доме и «разобрать вещи покойного».

Я письмо перечитал два раза. Потом третий. Потом позвал Киру.

Кира у меня женщина видная. Не то чтобы модель, но есть в ней что-то такое, отчего я до сих пор, четыре года женатый, иногда теряюсь. Волосы тёмные, стрижёт коротко, под мальчика, и от этого у неё на затылке смешной хохолок, который она терпеть не может, а я люблю. Глаза серые, внимательные — такие, что когда она смотрит, кажется, будто она уже всё про тебя знает, и про письмо твоё, и про деда, и про «Москвич», и даже про то, что ты сам ещё не решил. Ростом она мне по плечо, но когда сердится, кажется выше. И вот сейчас она вышла из кухни с полотенцем через плечо, в домашних штанах и моей старой футболке, которую отобрала у меня года три назад и носит, как свою. А живот у неё уже заметный — четыре месяца. Не то чтобы большой, но уже такой, что руку положишь — и чувствуешь, что там кто-то живёт. Она это полотенце с плеча сняла, на стол положила. Села. Посмотрела на меня внимательно, будто впервые видела.

— Какой дед, Родя? У тебя же нет деда.

— Вот и я так думал. А оказывается, есть. Двоюродный. Игнат Пантелеевич. Он мне дом оставил. В деревне. И «Москвич».

Кира вздохнула так, что у меня в ушах зазвенело. Помолчала. Потом произнесла медленно, с расстановкой, как учительница в школе:

— Родя. Ты инженер. Ты проектируешь торговые центры. Ты в прошлом месяце три дня не мог найти очки, которые у тебя на лбу были. Какая деревня? Какой «Москвич»? У меня, между прочим, беременность. Мне через месяц на второй скрининг. А ты хочешь уехать в деревню к деду, о котором никогда не слышал?

Я развёл руками:

— Кира, ну ты пойми. Там дом. Там «Москвич». Там, может, деньги какие в банке. А если я не поеду — дом сгниёт. «Москвич» заржавеет. А я потом всю жизнь буду думать: «Эх, Родион, не поехал ты тогда в эту деревню».

Кира закрыла глаза. Посидела так с минуту. Потом открыла и посмотрела на меня уже без злости, а как-то устало. Руку на живот положила — сама не заметила, наверное, а может, и заметила.

— Родя. Ты когда в последний раз из Москвы выезжал? Не на дачу к моей маме, а вообще?

Я задумался. Честно — задумался. Почесал затылок.

— В две тысячи пятнадцатом. В Амстердам. По работе.

— Вот. — Кира подняла палец. — Шесть лет назад. И ты хочешь сразу в деревню. Где нет интернета. Где нет аптеки. Где даже такси не вызвать.

— Кира, — я приложил руку к груди, — там «Москвич» семьдесят девятого года. Я на нём, может, даже доеду. Это же не просто машина. Это память.

— Память. — Кира усмехнулась, но как-то невесело. — А ты эту память хоть раз видел? Ты этого деда хоть раз видел?

Я открыл рот. Закрыл. Не нашёлся что сказать. Потому что не видел. И деда не видел. И дома не видел. И «Москвича» не видел. Но письмо-то было. Нотариальное. С гербом. Значит, не врали.

Кира встала. Прошлась по комнате — от стола к окну, от окна к столу. Потом остановилась. И заговорила уже спокойнее, деловито, как она умеет, когда берёт себя в руки:

— Ладно. Слушай сюда. Ты едешь не на месяц. Ты едешь на несколько дней. Максимум — на неделю, как в письме написано. Разобрал вещи, подписал бумаги — и обратно. Понял? Я тебе не чемодан на всю жизнь собираю. Я тебе собираю на три-четыре дня. В крайнем случае — на пять. Но чтобы к скринингу ты был дома. Это не обсуждается. Я одна на скрининг не пойду.

Я закивал так быстро, что чуть шею не свернул:

— Конечно, Кира. Конечно. Три-четыре дня. Максимум пять. Я только туда и обратно. Разобрал вещи — и всё. Дом продам или сдам кому-нибудь. «Москвич» — на запчасти. И вернусь. К скринингу. Обязательно.

— И звонить мне каждый вечер. Не смской. Голосом. Чтобы я слышала, что ты живой и не в канаве.

— Каждый вечер. Голосом. Понял.

— И не вздумай там вляпаться в какую-нибудь деревенскую историю. Я тебя знаю. Ты как ребёнок. Тебя только отпусти — ты или в колодец упадёшь, или женишься на ком-нибудь.

— Кира, — я обиделся даже, — ну какая женитьба. Мне тридцать шесть лет. Я инженер. Я взрослый человек.

Кира посмотрела на меня долгим взглядом. Потом подошла. Взяла моё лицо в ладони — руки у неё тёплые, чуть шершавые, она их кремом мажет, но всё равно чувствуется, что она не бездельница. И произнесла уже совсем тихо, почти шёпотом:

— Родя. Ты не взрослый. Ты большой ребёнок. Но ты мой большой ребёнок. Поэтому я тебя отпускаю. На пять дней. Считай часы.

И поцеловала меня в лоб. Как мать. Как будто я в первый класс шёл.

В общем, собрал я чемодан. Кира стояла в дверях, скрестив руки, и смотрела, как я складываю вещи. Я взял ноутбук — вдруг работу удалённо делать придётся. Взял зарядку. Взял таблетки от головы. Взял таблетки от живота. Взял ещё одни таблетки, на всякий случай. Кира покачала головой:

— Ты как будто на войну собираешься. На пять дней.

— Кира, — я застегнул чемодан и выпрямился, — ты не понимаешь. Деревня — это тебе не торговый центр. Там люди живут. Там свои порядки. Там, может, даже магазина нет.

— Родя. — Кира подошла ближе и ткнула пальцем мне в грудь. — Ты в магазин последний раз когда ходил?

Я опять задумался. И признался:

— В прошлый вторник. За хлебом.

— И что случилось?

— Что случилось? — я развёл руками. — Ничего не случилось. Я хлеб купил. Пришёл домой. А потом оказалось, что я купил не тот хлеб. Не тот, который ты просила. А другой.

Кира отвернулась. Помолчала. Потом произнесла тихо, почти шёпотом:

— Родя. Позвони мне, когда приедешь. И не потеряйся там. И помни: пять дней. Я считаю.

— Кира, я не потеряюсь. Я же инженер.

А сам подумал: «Господи, а вдруг потеряюсь?»

Глава вторая. Приезд

И вот приехал я, значит, в эту деревню. Называется — Гавриловка. Автобус дальше не идёт. Водитель, мужик в кепке и с усами, как у Будённого, обернулся и кивнул на дверь:

— Приехали, гражданин. Вылезайте.

Я выглянул в окно. За окном — поле. И больше ничего.

— А как же деревня?

— А вон она. — Водитель махнул рукой куда-то вперёд. — За поворотом. Пешком дойдёте. Тут близко. Километра полтора.

— Полтора километра? Пешком? С чемоданом?

Водитель усмехнулся и поправил кепку:

— А вы что, чемодан с собой нести не можете? Молодой же человек.

Я вышел. Автобус уехал. Пыль осела. И стало тихо. Так тихо, что у меня в ушах зазвенело. Я постоял, подождал, пока звон пройдёт. Не прошёл. Тогда я взял чемодан и пошёл.

Дорога — грунтовая. После дождя, видимо, была грязь, а теперь подсохла и стала твёрдая, как бетон. По обочинам — трава. Высокая, до пояса. И поля. С одной стороны — поле. С другой — тоже поле. И тишина. Только кузнечики стрекочут. Или это у меня в голове стрекочет — я уже не разбирал.

Иду. Чемодан в руке. Ноутбук в другой. Думаю: «Родион, а ведь ты инженер. Ты проектируешь торговые центры. Ты можешь рассчитать нагрузку на квадратный метр. А сейчас ты идёшь по дороге в деревню Гавриловка с чемоданом и не знаешь, где тут магазин».

Встречаю бабушку. Стоит у калитки. Платок на голове. Лицо — как печёное яблоко. Смотрит на меня, прищурившись.

— Здравствуйте, бабушка.

Она молчит. Только платок поправила.

— Я тут наследство получил. Дом Верещагина Игната Пантелеевича. Не подскажете, где это?

Бабушка глаза прищурила ещё сильнее. Помолчала. Потом спросила:

— А ты кто будешь?

— Я Родион. Внучатый племянник. Из Москвы.

— Из Москвы. — Она покачала головой. — А чёй-то ты раньше не приезжал?

— Бабушка, я же не знал. Мне письмо пришло. Нотариальное. Только вчера.

Бабушка поджала губы. Посмотрела на меня так, будто я ей рубль должен. И произнесла с горечью:

— Нотариальное. Знаем мы эти нотариальные. Дед-то тебя ждал. Всё говорил: приедет Родионка, приедет. А ты не приезжал. А теперь, значит, приехал. Когда деда нету.

Я стою. Чувствую, что у меня уши горят. Как в школе, когда я двойку получил, а учительница говорит: «Верещагин, ты меня не слушаешь». А я слушаю. Просто не понимаю.

— Бабушка, я же не знал. Мне не говорили. У меня родители умерли рано. Меня тётка воспитывала. Она про деда ничего не рассказывала.

Бабушка помолчала. Отвела взгляд. Потом спросила уже мягче:

— Тётка. Это какая ж тётка?

— Зоя Михайловна. Она в Твери живёт.

Бабушка опять помолчала. Пожевала губами. И кивнула:

— Зоя. Знаю Зою. Она в восьмидесятом приезжала. Дед ей письма писал. А она не отвечала. Гордая была. А ты, значит, её племянник. Родион.

— Родион.

— Ну, пойдём. — Бабушка махнула рукой в сторону деревни. — Провожу. Дом-то вон он. За поворотом. Только ты это… чемодан-то неси аккуратнее. Там крыльцо старое. Проломится ещё.

И пошла. А я за ней.

Шли мы, значит, через деревню. И я вам скажу, граждане: деревня эта была не то чтобы большая, но и не маленькая. Домов, может, тридцать, а то и сорок. Стояли они вдоль дороги, кто как хотел — один поближе к дороге, другой подальше, за палисадником. Палисадники — у кого получше, у кого похуже. У одних забор покрашен, у других — покосился и стоит на честном слове. У третьих вообще забора не было, только столбики торчали, как зубы у старой лошади.

Бабушка шла впереди, маленькая, в тёмной юбке и кофте, и платок её развевался на ветру. Шла она быстро, не по возрасту, и я за ней едва поспевал — чемодан в одной руке, ноутбук в другой, и всё это оттягивало плечи. А бабушка ещё и оборачивалась через каждые десять шагов, проверяла, иду ли я.

— Ты это… не отставай, — бросила она через плечо. — Тут собаки есть. У Петровны — злая. Как увидит чужого, так и норовит за штанину цапнуть. А ты вон в брюках. Дорогих, поди.

— Дорогих, — согласился я, хотя брюки были самые обычные, из «Леруа Мерлен», я в них ещё полку дома вешал. — Бабушка, а далеко ещё?

— А вон, — она махнула рукой куда-то вперёд, — за тем домом с зелёной крышей. Только там ещё поворот. И потом ещё немного. Дед твой на самом краю жил. Всегда на отшибе. Говорил: «Я, Анна, люблю, чтобы тихо было. Чтобы никто не лез». Вот и жил. А теперь, значит, ты приехал. Шумный, поди. Из Москвы.

— Я не шумный, — обиделся я. — Я тихий. Я инженер.

— Инженер, — повторила бабушка, и в голосе её послышалось что-то такое, отчего мне захотелось оправдаться. — Инженеры тоже разные бывают. Один вон у нас в райцентре мост строил. Такой тихий был, такой тихий. А потом оказалось, что он половину материалов налево продал. Так что ты это… тихий-то тихий, а я посмотрю.

Я не нашёлся что ответить. Шёл молча.

Деревня жила своей жизнью. У одного дома женщина развешивала бельё на верёвке — простыни белые, огромные, и они на ветру надувались, как паруса. Женщина обернулась, посмотрела на нас, на меня, на чемодан мой, и что-то крикнула бабушке. Бабушка ей в ответ махнула рукой и что-то коротко бросила. Женщина всплеснула руками и скрылась за простынёй.

У другого дома мужик чинил забор. Он стоял на коленях, что-то приколачивал молотком, и когда мы проходили, он выпрямился, вытер лоб рукавом и уставился на меня, как на диковину. Я ему кивнул. Он не ответил. Только проводил взглядом, а потом сплюнул и вернулся к своему забору.

А ещё был пёс. Рыжий, лохматый, с одним ухом — второе, видимо, в бою потерял. Он лежал у чьих-то ворот, а когда мы поравнялись, поднял голову, посмотрел на меня и вдруг

встал и пошёл за нами. Не близко, шагах в десяти, но пошёл. Я обернулся. Пёс остановился. Посмотрел на меня. И снова пошёл.

— Бабушка, — я кивнул назад, — это чей пёс?

Бабушка обернулась, посмотрела на пса и махнула рукой:

— А, это Рыжий. Ничей. Приблудный. Он тут у всех. Где покормят, там и живёт. А сейчас, видать, чует, что ты человек новый. Может, думает, что ты его покормишь.

— Я его не кормил.

— А он надеется. Собаки, они такие. Всё надеются.

Пёс шёл за нами до самого поворота. Потом остановился. Сел. Посмотрел мне вслед. И остался сидеть.

Дорога свернула. И тут я увидел дом. Тот самый. Дедов. Стоял он на самом краю, у поля. Крыша набок. Окна — одно целое, другое фанерой забито. Забор вокруг — из горбыля, серый, старый, в некоторых местах повалился. Калитка на одной петле висела, скрипела. И тишина вокруг такая, что я опять услышал, как у меня в ушах звенит.

Бабушка остановилась. Перекрестилась на дом. Потом обернулась ко мне:

— Ну, вот. Пришли. Это дом деда твоего. Игната Пантелеевича. Царствие ему небесное. — Она помолчала. — Он тут последние годы один жил. Я ему иногда еду носила. Он всё говорил: «Анна, не надо. Я сам». А сам-то уже еле ходил. Всё гордый был. Всё ждал кого-то. А ты, значит, и есть тот, кого он ждал. Только опоздал ты, Родион. Опоздал.

Я стоял. Смотрел на этот дом. На покосившуюся крышу. На забитое фанерой окно. На калитку на одной петле. И думал: «Родион, а ведь ты и правда опоздал. Ты ехал сюда за наследством. А приехал — на встречу с человеком, которого уже нет. И который, оказывается, тебя ждал. А ты даже не знал, что он есть».

Бабушка шагнула к калитке. Толкнула её. Калитка скрипнула и открылась. Тут-же, от куда не возьмись, прошмыгнул "Рыжий", что, увязался за нами. Бабушка обернулась:

— Ну, заходи. Не бойся. Он не кусается. Он добрый. Хотя и вредный.

Я подошел к дому, поднялся на крыльцо одним большим шагом и зашёл. Внутри — пыль. Пахнет чем-то старым. Керосином, что ли. Или дедом. Стоит стол. На столе — чашка. В чашке — ложка. Как будто дед только что вышел. И вернётся. А он не вернётся. Потому, что он помер. А я вот приехал. Разбирать вещи.

Бабушка постояла в дверях. Потом шагнула через порог и положила руку мне на плечо. Рука у неё была сухая, лёгкая, но тяжёлая какая-то. Как будто она этим жестом ставила на мне печать.

— Ты это… не пропадай. Я тут рядом живу. Если что — заходи. Зовут меня Анна Тимофеевна. А деда твоего я знала. Он хороший был. Только одинокий. Всё ждал кого-то. А ты, значит, и есть тот, кого он ждал.

И ушла. Калитка за ней скрипнула. И стало тихо. Только Рыжий пёс где-то за забором тявкнул — один раз, коротко, как будто спрашивал: «Ну что, покормишь?»

А я стою в этом доме. С чемоданом. С ноутбуком. С таблетками от головы и от живота. И думаю: «Родион, а ведь ты приехал за наследством. А получил — совесть. И „Москвич“ семьдесят девятого года. Который, кстати, тоже стоит во дворе. И, судя по виду, тоже ждал. Только уже не меня, а какого-нибудь трактора,что его передет».

Глава третья. Дом

Первую ночь я, честно говоря, плохо спал. Не то чтобы боялся — я не из пугливых. В Амстердаме, помню, жил в хостеле, где сосед по койке был голландец, который всю ночь разговаривал во сне на трёх языках, и ничего, выжил. Но тут было другое. Дом скрипел. Не так, как скрипят московские панельки, когда соседи сверху двигают мебель. А по-другому. Как будто дом сам по себе жил. Вот я лягу, глаза закрою — и начинается: то половица вздохнёт, то стена потрескивает, то на чердаке что-то ухнет. Я лежал на старом диване, укрывшись своим

пальто, потому что постельного белья не было, и думал: «Родион, а ведь ты мог сейчас быть дома. С Кирой. В тёплой постели. А ты лежишь в деревне Гавриловка, на диване, который, судя по запаху, помнит ещё Брежнева, и слушаешь, как дом разговаривает».

Утром я встал. Размялся. Шея затекла — диван был не диван, а какой-то каменный мешок, набитый опилками. Вышел во двор. Утро было туманное, прохладное. Пахло сыростью и чем-то ещё — дымом, что ли. Я посмотрел на «Москвич». Тот стоял под навесом, весь в пыли и паутине. Я подошёл, провёл пальцем по капоту. Пыль была такая толстая, что палец оставил борозду, как в снегу.

— Ничего, — сказал я «Москвичу». — Мы с тобой ещё разберёмся. Может, ты и не поедешь уже. Но разберёмся.

«Москвич» молчал. Только паутина на зеркале задрожала.

Я вернулся в дом. Решил: раз приехал — надо разбирать. Начал с кухни. Там была печь. Настоящая, кирпичная, побеленая. На печи — чугунки. В чугунках — ничего, пусто. Только в одном, самом маленьком, лежала ложка. Я её взял. Ложка была старая, алюминиевая, с погнутой ручкой. Я хотел её выбросить — зачем мне чужая ложка? — но потом подумал: «А вдруг это память?» И положил обратно.

На столе — клеёнка. Старая, потёртая, с рисунком, который я даже не сразу разобрал. Какие-то цветы. Или, может, это были не цветы, а что-то другое. Я клеёнку снял, положил в мешок для мусора. Под ней — стол. Деревянный, тяжёлый. Я постучал по нему костяшками пальцев. Звук был глухой, как будто внутри пустота. Я постучал ещё раз, в другом месте. И тут мне показалось… Нет, не показалось. Звук был другой. Более звонкий, что ли. Я наклонился, посмотрел под стол. Там, под столешницей, была прибита деревянная планка. Такая, знаете, незаметная. Я её поддел ножом — она поддалась. А за ней — щель. Узкая, сантиметра два. И в этой щели — ничего. Пусто. Я пошарил пальцами. Пыль. И всё.

«Показалось», — решил я. Но осадок остался. Как будто дом мне подмигнул и сказал: «Ищи дальше».

Я перешёл в комнату. Ту, где стоял диван. Там был ещё шкаф. Старый, тёмного дерева, с резьбой по дверцам. Я открыл его. Внутри — одежда. Дедова. Рубахи, штаны, пиджак. Всё старое, но чистое. Как будто дед аккуратно складывал, а не просто запихивал. Я вынул одну рубаху. Синяя, в клетку. На воротнике — заплатка. Аккуратная, мелкими стежками. Я подумал: «Кто же это штопал? Дед сам? Или бабка какая была?» Но про бабку никто не говорил. Анна Тимофеевна сказала: «Одинокий был». Значит, сам штопал. Или… не сам.

Я рубаху положил обратно. Закрыл шкаф. И тут заметил: на дверце, внутри, что-то нацарапано. Мелко, почти незаметно. Я пригляделся. Буквы. «И. П. В.» И год — «1985». И ещё что-то, но я не разобрал. То ли цифры, то ли буквы. Я потёр пальцем — не стирается. Значит, не карандаш. Чем-то острым, нацарапано.

«Игнат Пантелеевич Верещагин», — догадался я. — «1985». Год. Что это за год? Может, он тогда в этот дом переехал? Или что-то случилось?

Я отошёл от шкафа. Сел на диван. И тут только заметил: на стене, у окна, висит фотография. Я её раньше не видел — она была за занавеской, а занавеска сдвинута. Фотография была старая, чёрно-белая, в рамке под стеклом. На ней — мужчина. Лет сорока, может, пятидесяти. В рубахе, в кепке. Смотрит прямо в объектив. И улыбается — не широко, а так, уголком рта. Как будто он знает что-то, чего не знаешь ты. И рядом с ним — женщина. Молодая, в платье в горошек. Стоит чуть позади. И тоже улыбается. И у неё на руках — ребёнок. Маленький, в одеяле. Лица не видно.

Я снял фотографию со стены. Протёр стекло рукавом. На обороте — надпись. Химическим карандашом, выцветшим. «Игнат, Мария, 1975». И всё. Ни фамилии, ни места. Только имена и год.

«Мария», — повторил я. — «Кто такая Мария? Жена? И ребёнок. Чей ребёнок?»

Я поставил фотографию на стол. И вдруг почувствовал, что в доме как-то по-другому стало. Не то чтобы страшно. А как будто я тут не один. Как будто дед стоит за спиной и смотрит: «Ну что, Родионка, дошёл до фотографии? А дальше пойдёшь?»

Я пошёл дальше. На чердак.

Люк был в сенях, на потолке. Я подставил табурет, встал, толкнул. Люк поддался, и мне в лицо пахнуло пылью и чем-то сухим, как будто там, наверху, лежали старые газеты. Я подтянулся, заглянул. Темно. Я вернулся в комнату, взял фонарик — у меня в чемодане был маленький, на всякий случай, — и полез.

Чердак был низкий. Я стоял согнувшись, почти на четвереньках. Фонарик выхватывал из темноты то старый сундук, обитый жестью, то связку газет, перевязанную верёвкой, то какие-то банки, кастрюли, сковородки. Всё в пыли, всё старое. Я присел на корточки, открыл сундук. Внутри — инструменты. Молоток, стамеска, рубанок. Ещё что-то. И книги. Три или четыре. Я взял одну. «Справочник радиолюбителя», 1972 год. Вторая — «Юный техник». Третья — потрёпанный томик Чехова. Я открыл Чехова. На форзаце — надпись: «Игнату от Марии. 1976». И всё. Опять Мария.

Я закрыл сундук. И тут фонарик мой скользнул по стене. И я увидел: в углу, за сундуком, в стене была дырка. Не дырка — ниша. Маленькая, аккуратная, выложенная кирпичом. И в ней что-то лежало. Я подполз ближе. Фонарик дрожал у меня в руке. Я протянул руку и вытащил. Это была тетрадь. Обычная школьная тетрадь, в клетку. Обложка была серая, потрёпанная. На обложке — ничего. Ни имени, ни фамилии. Я открыл первую страницу. И прочитал:

«Я, Верещагин Игнат Пантелеевич, начинаю писать сии записки 12 апреля 1985 года. Пишу для того, чтобы не забыть. А может, для того, чтобы кто-нибудь потом прочитал. Если найдут. А если не найдут — значит, так тому и быть».

Глава четвёртая. Дневник

Я сел прямо на пол, на чердаке, среди пыли и старых газет. Фонарик положил рядом — он светил в потолок, и от этого на стенах плясали тени, как будто вокруг меня кто-то ходил. Но я уже не обращал внимания. Я открыл тетрадь.

Первая страница была написана тем же карандашом, выцветшим до бледно-фиолетового. Почерк — мелкий, аккуратный, с наклоном вправо. Дед писал как человек, который привык заполнять документы. Но слова были не казённые. Слова были живые.

«Я, Верещагин Игнат Пантелеевич, начинаю писать сии записки 12 апреля 1985 года. Пишу для того, чтобы не забыть. А может, для того, чтобы кто-нибудь потом прочитал. Если найдут. А если не найдут — значит, так тому и быть».

Я перевернул страницу. Дальше шло описание. Дед нашёл обломок в поле. Металлический, гладкий, тёмно-серый.

«Не метеорит, — писал он. — Потому что не горело и не пахло. И трава вокруг не выгорела. Лежал просто так, как будто кто-то положил и забыл».

Дед принёс обломок домой. Долго думал, что это. Потом вообще забыл, кинул в сарай и не вспоминал про этот обломок долгие годы. Потом вставил в старую радиолу «Рекорд», которую ему отдали за долги. Сидел в сарае копашился с ней. Подключил. И радиола заработала. Не как радиола — как... Дверь.

«Первый раз нажал на третью кнопку — открылось окно. За окном — зима. А на дворе — апрель. Испугался. Закрыл. Но запомнил».

Я опустил тетрадь на колени. Посмотрел на фонарик, который светил в потолок. И подумал: «Родион, а ведь ты сейчас сидишь на чердаке в деревне Гавриловка и читаешь записки сумасшедшего. Или не сумасшедшего. Или — что хуже всего — не сумасшедшего».

Я читал дальше. Следующая страница была озаглавлена «Правила». Почерк здесь был более разборчивый, как будто дед переписывал набело, чтобы самому не забыть.

«Правило первое. Ползунок веди медленно. Год — не частота волны, год — это голос того, кого ищешь. Ловится на слух. Промахнёшься — между годами - беда. Между — только шум. Я два раза попадал в затяжной шум. С тех пор пишу это правило.«В шуме не страшно. В шуме уютно. Долго не искать! Шум затягивает, как болото».

«Правило второе. Без якоря год не держится. Якорь — это то, что звучало в том году и звучит в тебе. Вещь, голос, фото, запах, событие. Чем вещь старше и чем ближе она к дате — тем чище приём. Я три года наладить не мог, пока не догадался: радиола сама не знает, куда тебе надо. Ты выбираешь! Она знает только, где ты есть».

«Правило третье. При переходе — холод. Как в воду ледяную входишь. НЕ ПУГАТЬСЯ! Потом тепло. Не бойся тепла. Бойся, если его нет. Значит был некорктный ввод или сигнал. Выбросит куда угодно,или когда угодно».

«Правило четвёртое. Между слушанием и переходом — разница, как между зеркалом и дверью. Слушай хоть всю жизнь — ничего не изменится. Вошёл — изменил. И уйти уже не можешь. Всё, что там поменялось, — поменялось навсегда. Не там. Здесь. Понял? Здесь. Потому что там — там уже это было. А здесь — теперь естьили будет».

«Правило пятое. Эфир ест память. Каждый час прослушивания — съест час. Мелочи. Песню. Имя соседа. Каждый переход — съест месяц. Один раз провалился в шум,чтоб его, на четыре часа — потерял четыре дня. Из моей свадьбы остались только руки с кольцом Марии в какие то коричневые перчатки. Свадьбу я помню как чужую».

«Правило шестое. Не заходи в год дальше, чем ты был жив. Дальше — там уже не ты. И не поймёшь, что берёшь, а что оставляешь».

«Правило седьмое. Дважды в один и тот же час одного года не входи. Есть шанс встретить себя. Не советую. Увидишь себя — что-нибудь, кто-то из вас двоих не досчитается. Рука пропадет либо и пол тела, кто его зает, лучше не проверяй».

«Правило восьмое. Живому, вошедшему к мёртвому, обратной кнопки нет. Поясняю, к примеру ты решил спасти мертвого, изменил его цепочку жини, он в своей реальности жив в твоем времени и если ты решил к нему пройти из своей реальности в его, то уже от туда не выйдешь. Это время для нашей реальности считается мертвым. Третья кнопка возвращает только в живое время. Из мёртвого времени — ничего не возвращает. Эфир — не дверь туда-сюда».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.